

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



О ЧЁМ ЗВЕНЕЛ РУКОМОЙНИК

РАССКАЗЫ

Помнится, будучи проездом в Ширинском районе Хакасии, решил я вернуться в Марчелгаш, небольшую деревеньку, примыкающую к лесистым горам, где кончается ковыльная степь и начинается присаянская тайга. Здесь, на отделении Туимского совхоза, жил Владимир Ильич Кононов, бывший мой каратузский земляк, старый приятель. Нравом — из породы тех, кого в газетах называют вечными тружениками, а в народе характеризуют добродушно-иронической хохлацкой поговоркой: “Моему Ивану лишь бы наробиться”.

Мне доводилось и раньше писать о Владимире. Человек он был, безусловно, примечательный. Чего стоила одна его приверженность к лошадям, к которым он привязался ещё мальчишкой, в пору неспящего военного детства, и остался верен им на всю жизнь. Отдавая дань веяниям времени, Владимир учился, кончал разные курсы, был и комбайнером, и ветеринаром, и бригадиром, но не однажды случалось так, что под горячую руку вдруг бросал все эти престижные профессии, должности и с радостью возвращался к лошадям — пас, конюшил, объезжал молодняк.

Теперь, как я слышал, он уже несколько лет работал управляющим отделением совхоза. И работал добросовестно. Выкладываясь, как обычно, на всю катушку. Случалось, даже сам коров доил, если доярки “расслабились” после очередной полочки, пас овец, когда чабаны выбывали из строя

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился в 1939 году в селе Таскино Красноярского края. По образованию учитель словесности, журналист. Автор многих книг поэзии, прозы, публицистики. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат ряда премий. Неоднократно публиковался в журнале “Наш современник”. Живёт в Красноярске.

по той же причине или по серьёзной болезни, помогал молодым механизаторам словом и делом. А для сельских ребятишек, хорошо подсоблявших летом в прополке полей, сделал настоящее озеро: выкопал бульдозером огромный котлован за деревней и заполнил его водой — купайся, братва!

И вот подрулил я июльским деньком к знакомым зелёным воротцам, осенённым буйной черёмухой. Забрехал собачонок. Однако из домочадцев к калитке никто не вышел. Двор оказался пустым, и на дверях дома я заметил круглый замок, похожий на детскую погремушку. Старик-сосед, гревшийся на лавочке под солнцем, пояснил мне, что хозяйка ушла за деревню тяпать картошку и что, возможно, там и хозяин. Во всяком разе, “сама” вернее скажет, где сейчас находится “сам”, а их картофельный участок — вот он, недалеко, за сушилкой налево.

И я направился искать хозяйку Римму. Но едва выехал за село на перекрёсток, как из-за леса с шумом вывалил резвый табун лошадей и запыллил мне наперерез. Пришлось притормозить машину, чтобы переждать эту лавину. Невольно залюбовался текучим, рябящим в глазах табуном. Лошади были справные, с лоснившимися крупами, с густыми гривами, и самых разных мастей — карие, гнедые, белые, чалые, каурые, мышастые, игреневые, мухортые, соловые, сивые, пегие и прочие, словно их специально подбирали для коллекции.

На шее одного саврасого меринка с лохматыми бабками сбивчиво погромывало ботало. Я невольно обратил внимание на внушительные размеры его и непривычный серебристо-серый цвет, которыми оно скорее напоминало оловянную ступку или умывальник, чем обычный бронзовый колокольчик. Когда же савраска поравнялся с машиной, я даже вздрогнул от удивления и отпрянул к спинке сиденья: на шее лохмононого конька болтался и впрямь пузатый рукомойник с клинчатой щербинкой на боку, как у знаменитого Царь-колокола. Чувствовалось, до чего неловко было лошади трусить с этим нелепым боталом, то и дело бьющимся в грудь. Чтобы утихомирить его бултыхания, савраска неестественно вытягивал шею, держа приподнятую голову так, словно нёс на ней драгоценный сосуд и боялся расплескать содержимое. Похожим манером носят головы разве что иные спесивые чиновники, да ещё дамы “со следами былой красоты”.

Не менее удивило меня и то, что следом за табуном, покручивая в воздухе кнутовищем, скакал на сером в яблоках жеребчике сам управляющий. Я непроизвольно рванул дверцу, выскочил из кабины и замахал ему. Владимир тотчас узнал меня и, осадив своего скакуна в двух шагах от бампера, спешился. Мы поздоровались, разговорились. Оказалось, что приятель мой с месяц назад в очередной раз покинул руководящий пост, чтобы снова вернуться к излюбленному занятию — коневодству, а проще сказать — конюховству. И теперь уже, он был убеждён, навсегда, ибо до выхода на пенсию оставался год с небольшим хвостиком.

— А ну его к бесам, столоначальство это, мне здесь куда спокойней — ни указов, ни проработок, ни выговоров. Да и лошадь — подо мной. Глянь, какой красавец, — сказал новоявленный ковбой, поглаживая своего серка по холке.

— Ну-ну, знакомая песня, не впервой слышим, — усмехнулся я. — А зачем это ты, братец, рукомойник савраске на шею повесил? Да ещё вверх ногами. Мода или рационализация?

Владимир не принял моего шутливого тона. Он как-то сразу погрустнел, помял пальцами серебряную щетину на скулах и, морщась, точно от зубной боли, сказал:

— Стыдно от людей, ей-богу! Дожили с этими перестройками... Не найти ни хомута, ни седёлки, ни верёвки, ни даже вот несчастного колокольца. На двести вёрст кругом магазины обшарил, в школы обращался: нет ли, мол, завалищенького от тех времён, когда тётя Мотя звонки на урок подавала, — шаром покати! А мне без колокольчика-то как? Он же пастуху первый помощник. Заскочил я, скажем, домой перекусить, ухо держу топориком: звенит колоколец — значит, табун мой здесь, у березничка пасётся. А иначе на миг отвернулся — ищи ветра в поле. Вот и пришлось изобрести это дурацкое

ботало. Нашёл на брошенной мехдойке старый умывальник, подвязал внутри гайку вместо языка — брякает худо-бедно, подаёт сигнал конюху. Понятно, не подарок коню — таскать эдакое громыхало на шею, но, поди, временно, всё же надеюсь раздобыть нормальный колокольчик. А пока очередь установил: сегодня дежурит савраска, завтра — игренька, послезавтра — пегашка...

— Однако почему выбрал именно умывальник, а не, допустим, какую-нибудь ступку?

— Ну, ступа — это уж вовсе дико, даже бы лошади заржали, наверно. Видел я, иные пастухи-бедолаги вешают и консервные банки, и детские ведёрки, и рыбацкие котелки, но они ведь из жести, совсем глухие, не звенят — шепчут. А мой умывальник всё ж литой, не громкий, но с голосом. — Владимир горько усмехнулся и добавил: — Голь на выдумки хитра, как говорится. А куда податься бедному крестьянину? Может, в городе увидишь какой-никакой колокольчишко — не поскупись, купи, в долгу не останемся...

И вот всю дорогу, покуда ехал я потом из Марчелгаша в Красноярск, не выходил у меня из ума нелепый тот умывальник на покорной лошадиной шее. И стоял в ушах его надтреснутый, дребезжащий звук. Казалось бы — мелкая, эта деталь “пореформенного” деревенского быта не давала мне покоя, скребла, скорчегала по душе, точно гвоздём по стеклу.

Много несуразностей видел я в нашей жизни, проведя тридцать лет в непрестанных командировках по городам и весям. Видел, к примеру, как сельские умельцы в дедовской кузне ремонтировали, доводили до ума комбайны, только что полученные с заводского конвейера. Видел лесосеки, таёжные дороги и берега рек, усеянные бесхозными брёвнами из лучшей в мире ангарской сосны, которая превращалась в труху. Видел в рыболовецких бригадах тонны гнившей рыбы деликатесных пород — некому было вывезти. Встречал целые горы золотого зерна, горевшие белым огнём под открытым ненастным небом. Был свидетелем того, как под фанфары сдавали в эксплуатацию недостроенные дома, мосты и заводы, знал звероводов и химиков, лихо командовавших культурой и искусством. Живал в районных гостиницах, где не то что самовара или сапожной щётки, но не было даже лишнего гвоздя в стене, чтобы повесить пиджак...

Да мало ли несообразностей, порождённых приказной системой и затем усугублённых “трудностями переходного периода” на пути к рыночным свободам, встречали мы с вами на каждом шагу! Но почему-то именно тот маленький штришок бестолковости нашего быта, тот культяввшийся рукомойник на вытянутой шее савраски особенно задел меня за живое, перевернул мою душу. Воистину дожили, докатились, “доускорялись”, думал я, дальше ехать некуда. Ведь это в стране, которая искони славилась знаменитыми ямщицкими колокольчиками с оттиснутыми по венцу золотыми буквами “Дар Валдая”! В стране, где половина песен народных и стихотворений поэтов замешаны на малиновом звоне колоколов, на вихреподобном полёте рысаков с заливыстыми поддужными бубенцами, где каждый школьник знает наизусть гоголевскую Русь-тройку, перед коей “постораниваются... и дают ей дорогу другие народы и государства”. И в этой самой державе вдруг исчез, канул в Лету последний бронзовый звоночек с говорливым язычком! Видимо, вслед за своей бытовой техникой, одеждой, лекарствами...

Где-то ещё летали отечественные космические корабли и спутники, оснащённые собственной аппаратурой, дымилась по городам заводы с литейными цехами, в думах и собраниях реками текли речи о “возвращении долгов деревне” и возрождении её, а в сибирской глубинке по холмистым степям, спотыкаясь, трусил безответный савраска с идиотской щербатой посудиною на остамелой шее...

Долго стучало мне в грудь то жалкое хриплое “било”, гудело в ушах, не давало покоя. И всё торчала гвоздём в голове глупо перевёрнутая строчка из песни, застрявшая после увиденного в Марчелгаше: “Однозвучно звенит... рукомойник”. Исподволь я сознавал: неладно что-то в нашем королевстве — и смутно чувствовал тревогу за все ветры и сквозняки перемен, гулявшие в нём. Но только через годы мне стало до тошноты ясно, о чём тогда бренчало абсурдное и несуразное савраскино ботало.

ВЫШЕ НАРКОМА

Командировка “на Севера” у Василия Шошина, корреспондента краевого радио, подходила к концу. Календарь досчитывал мартовские дни. Из Красноярска, где уже все одевались по-весеннему, Василий тоже прилетел в лёгкой куртке, в полуботинках, отчего вынужден был не ходить, а бегать по Дудинке. Здесь ещё стояли откровенно зимние морозы, веяние весны ощущалось разве что в слепящей белизне снегов под необычайно ярким солнцем, да и то его частенько затягивало “веянием” метелей.

Подмороженным выглядел и ход жизни северян. На нём почти не отражалась перестройка, бушевавшая на “материке”. Василий побывал и на суглане (совещании) оленеводов Таймыра, и в школе-интернате у ребятишек, собранных со всей тундры, и на диковинной ферме, где надои молока от коров, не знающих пастбищ, вдвое превышали южные, и в местном этнографическом музее, полном заполярной экзотики. А в качестве завершающего “гвоздя” ему даже удалось взять интервью у “самого” Санникова, первого секретаря окружкома партии.

Василий уже спрятал блокнот в карман пиджака, упаковал в чехол микрофон и защёлкивал кнопки на футляре “Репортёра”, когда его высокий собеседник, седоватый скуластый мужик, участливо спросил:

— Может, есть какие-то просьбы, проблемы?

Василий скромно пожал плечами:

— Да особых вроде нет, Алексей Петрович. Вот только пуржит третий день, и в Дудинку не ходят самолёты. Придётся ещё разок переночевать и с утрачка поездом пилить в Норильск, к аэропорту Алыкель. Там авиация надёжней.

Санников молча откинулся на спинку кресла, раздумчиво постучал пальцами по столу и, поглядев на светлеющее небо в окне, задал ещё вопрос:

— А если сегодня — прямо в Красноярск? Вы готовы?

— На оленях? — скептически усмехнулся Василий.

— Нет, на “Яке”, на сороковом, — поддержал его тон хозяин кабинета. — “Як-40” будет около пятнадцати пролетать с Диксона. Вообще-то он у нас не садится, но я могу попросить... по такому случаю. Вам три часа на сборы хватит?

— Да я бы хоть сейчас на борт, — обрадовался Василий неожиданной возможности. — Разве только в гастроном забегу, прихватю каких-нибудь “даров Севера”, обещал гостинцев дома и на работе...

— Тогда договорились. Детали утрясёте с моим помощником. Иван Михайлыч. Третий кабинет направо по коридору. Счастливого пути! — привстал “первый”, подавая руку молодому журналисту.

Когда Василий, на бегу отметив командировку в приёмной у секретарши, явился к Ивану Михайловичу, энергичному лысоватому толстячку, тот уже был в курсе дела. Видимо, получил ц/у по внутренней связи. Он предложил Василию присесть, а сам взялся за телефонную трубку и, накручивая диск, начал выдавать срочные звонки. Старался говорить намёками и обиняками, но всё же из реплик Василий понял, что речь идёт о его проблемах, в решении которых наметились какие-то шероховатости. Звонков было много. Наконец, помощник положил, а точнее бросил трубку на аппарат и, глядя в стол, подвёл итоги переговоров:

— С вылетом всё решено. Полтретьего за вами придёт машину к гостинице. Я сам провожу вас в порт и посажу в самолёт. А вот с лучшими дарами Севера, простите, осечка. У рыбаков перебои в поставках сырья. Рыбозавод приостановлен на ремонт. В магазинах запасы иссякли. По крайней мере, так докладывают завмаги. В наличии только обычные морепродукты, кое-какая речная рыба, ну, и разная здешняя дичь — оленина, полярные куропатки...

— Спасибо, не беспокойтесь. Обойдётся. К выезду я буду в гостинице. До встречи, — вежливо раскланялся Василий.

Выйдя на улицу, он почувствовал, что метель заметно утихомирилась. В мутной пелене, обнимавшей небо, обозначились бегущие облака и между

ними появились первые просветы. Надежда на сегодняшний вылет, прежде казавшаяся сомнительной, становилась вполне реальной. Это обрадовало Василия, и он, прежде чем обследовать ассортимент “даров природы” в ближайших торговых точках, решил забежать к сестре Лене, чтобы сообщить о возможном скором отбытии и на всякий случай попрощаться. Старшая сестра, как и он, родилась и выросла в далёкой подаянской деревне Огнёвке, работала в колхозе, но потом окончила в райцентре курсы кройки и шитья и завербовалась на Север, в Дудинку, где и жила с мужем и тремя детьми уже много лет, став настоящей северянкой. Время приближалось к полудню, к обеденному перерыву, и сестра, работавшая в швейной мастерской, должна была находиться дома, тем более, что накануне прихварывала и собиралась взять бюллетень.

Около заснеженного подъезда панельной пятиэтажки стояла, уткнувшись в комковатый сугроб, снегоуборочная машина с тёмно-зелёной будкой вместо кузова и этаким сочетанием мехлопаты со щетинистым валом-ершом впереди. Василий вспомнил, что муж сестры Фёдор Березин, в прошлом огнёвский механик, теперь шоферил на некоем “шнекороторе” в “службе снегоборьбы” морского порта, принадлежащего Норильскому комбинату, и подумал, что это, должно быть, он подрулил к дому на своём агрегате.

Догадка подтвердилась, едва Василий нажал на звонок знакомой квартиры. Дверь ему открыл сам ударник снегоборьбы. Он был в крытом полушубке и тёплых меховых сапогах. Видимо, только что появился в прихожей и ещё не успел раздеться.

— О-о, здорово, шуряк! Хороший гость всегда к обеду! — воскликнул Фёдор.

Из кухни, откуда слышалось шипение газовой плитки и скворчание какого-то жарева, тотчас выглянула сестра Лена с ложкой в руках и также начала с гостеприимного предложения:

— Раздевайся, Вась, и подожди немного. Сёдни мой хозяин пораньше подкатил, застал меня врасплох, но я моментом, рыбки поджарю на скорую руку, супец разогрею...

— Ой, нет, благодарствую, некогда. Я проститься пришёл, — и Василий пустился, было, выкладывать свои хлопоты, но как только коснулся проблем с гостинцами для семьи, для друзей, Фёдор сразу всё понял и прервал его на полуслове:

— Да чо ты унижаешься, ходишь по этим чиновным коридорам! Чо они там могут со своими звонками! Самолётам графики ломать? Пошли со мной в народ, и всё решим без всяких столоначальников. А “трепотёр” твой пока оставь. Мы, Ленка, через часик будем! — крикнул он жене, уже выталкивая шурину в дверь и нахлобучивая шапку на ходу.

Машина, стоявшая у подъезда, действительно оказалась его “шнекоротором”.

— Быстро в кабину! — скомандовал Фёдор.

Василий невольно подчинился приказу бывшего сержанта срочной службы, сосватавшего его сестру. И когда, обежав будку сзади, вскочил на сиденье, командир уже был за рулём. Он тотчас запустил мотор, резко сдал назад, потом крутым виражом вывернул на дорогу, явно демонстрируя водительское мастерство, и машина, потряхивая подвешенным впереди “шнекоротором”, запетляла по кривым улочкам города меж высоких снежных забоев. В одном из глубинных переулков Фёдор, не сбавляя скорости, подрулил к тёмному башнеподобному дому в два этажа, дал по тормозам, выключил сцепление и сообщил соседу:

— Это “Восьмигранник”, наш главный рыбный магазин, хотя и на отшибе. Видал?

Василий подался ближе к ветровому стеклу, и перед его глазами действительно предстало необычное деревянное строение — от заметённого снегом фундамента до высокой шатровой крыши. У него, сложенного не то из толстого бруса, не то из кантованного бревна, было не четыре стены, как обычно, и даже не пять, как, допустим, у пресловутого американского Пентагона, а целых восемь! И столько же углов. Прямо-таки макет полумистической

древнеславянской звезды, только с углами, срезанными “заподлицо”. Ранее не встречавший подобного чуда-юда, Василий обратил к зятю вопросительный взгляд: мол, зачем же столько?

— Стал быть, лес такой приплавил когда-то с материка. Вот и пришлось плотникам кумекать, собирать из наличного. Тут же ни деревца кругом, одна тундра...

Фёдор ещё добавил что-то, но последние его слова заглушило шумное вращение “шнекоротора”, запущенного им в работу. И следом, включив скорость, он двинул агрегат по касательной к заметённому метелями “Восьмиграннику”, а потом вокруг него. От снежной струи, забившей в сторону, поднялся белый вихрь и почти напрочь запылил стёкла кабины, так что Василий не сумел толком сосчитать, сколько кругов сделал Фёдор, огибая звездоподобный рыбный магазин богохранимой Дудинки, но их было, пожалуй, не меньше, чем граней. Притом с каждым заходом витки всё расширялись, а скорость “шнекоротора” всё возрастала, и снежный фонтан изпод него становился всё дальнобойнее. Наконец, описав контрольный круг, Фёдор остановил своё самоходное орудие снегоборьбы перед крутым дощатым крыльцом с перилами и вырубил мотор.

— Иди за мной! — повелительно сказал он шурина, вручая ему холщёвую котомку, вместимостью этак в полкуля, вынутую откуда-то из-за спинки сиденья. Затем откинул дверцу и выпрыгнул из кабины.

Василий покорно проделал то же самое и последовал за направляющим. В магазине с длинным, от стены до стены, прилавком, большую часть которого занимали стеклянные витрины, никого не было, кроме двух продавщиц — полноватой женщины с рыжими косами, собранными на темени в корону, и молодой чернявой девицы с коротенькой стрижкой. Фёдор почти с порога громко поприветствовал их как старый знакомый и доложил:

— Я там, девки, сверхурочно подмёл круговую площадку, можете хоть танцевать. А пока отпустите северных гостинцев моему шурыку из края.

— Ещё бы знать, чего и сколько, — игриво пропела продавщица с мальчишеской причёской. Она, сидя за прилавком, перебирала какие-то бумажки.

Фёдор обернулся к Василию, стоявшему за спиной:

— Сиг? Чир? Муксун?

Василий растерялся от неожиданных вопросов, робко пожал плечами, зачем-то стянул с головы шапку и сбивчиво пробормотал:

— Ну, может, три, четыре... да любого, что есть.

— У нас, как в Греции, всё есть, — крикнул Фёдор и, видя смущение шурина, взял из его рук котомку, а вместе с нею и бразды правления:

— В общем, так: пойдём по списку, — начал он.

Рыжеволосая продавщица молчаливо удалилась за занавес, в подсобные помещения, а улыбчивая стриженная отодвинула бумаги и поднялась в ожидании заказа уважаемого покупателя.

— Первое: сижок, — продолжил Фёдор, — горячего копчения и холодного копчения, кэгэ по полтора. Так же и чирок, и муксунчик...

— Во что?

— Вот тара, — протянул Фёдор холщёвый свёрток.

Молодая продавщица взяла мешок и тоже скрылась в подсобке.

В ожидании её возвращения Василий подошёл к витрине, надеясь по ценникам прикинуть примерную сумму, на которую потянет заказанная рыба, но, к своему удивлению, подобной там не обнаружил. Правда, выбор здешний был побогаче, нежели в магазинах на материке, опустошённых перестройкой, но в общем-то знакомый по недавним застойным временам: от тихоокеанской селёдки и хека серебристого до терпуга и камбалы. Из речных, енисейских рыб он заметил только щуку, окуня и ещё корюшку пряного посола.

Молодая продавщица появилась с пустыми руками, что встревожило, было, Василия, но она обратилась к нему с обычной улыбчивостью:

— Итого с вас...

Сумма оказалась вполне подъёмной. Василий зашуршал кредитками, начал рассчитываться. Фёдор, будто вспомнив о чём-то, тоже торопливо полез в карман и махнул продавщице:

— Да, ещё плюсом от меня пяток добрых муксунов, свежемороженых (пусть побалуёт гостей строганинкой), и корюшки малосольной, что пахнет молодым огурчиком, вон то корытце.

— Не корытце, а упаковку, — фыркнула стриженная.

В эту минуту хлопнула дверь и в магазин вошли новые покупатели — старуха в длинном пальто с песцовым воротником и мужик в ненецкой меховой малице. Продавщица как бы между прочим заметила Фёдору:

— Товар заберёте со двора.

Фёдор понимающе кивнул и, дёрнув шурика за рукав, направился к выходу.

— По коням! — дал он команду не то себе, не то пассажиру, усаживаясь за руль и включая зажигание.

Василий привычно повиновался боевитому водителю и занял своё место в кабине.

На прощальный, контрольный виток вокруг щедрого на завидные гостинцы “Восьмигранника” Фёдор вывел свой агрегат, уже не запуская “шнекоротора”. На половине круга, где в дощатой загородке мелькнул служебный вход, снегоборец остановил машину, вылез из кабины и нырнул в воротца. А через минуту появился в них с мешком в руке, раздувшимся от “товара”. Поднёс его к машине и поставил на сиденье рядом с Василием. При этом “посланец эфира” не просто отодвинулся, а, можно сказать, отпрянул в некотором страхе, ибо неожиданный-негаданный гостинец пугал его своими габаритами.

— Ну, вот тебе и дары Севера, полным черпаком. Блат выше наркома, как говорится, — удовлетворённо заключил Фёдор, когда, обогнув “шнекоротор”, снова взялся за баранку. — Хотя, по совести, никакого блата, просто плата добром за добро. Народная дипломатия называется...

— Так-то оно так, да только с этими дарами, поди, и в самолёт не пустят, — поделился тревожными сомнениями Василий.

— Не тот случай, паря! Там и поболее спецгрузы берут, — ответил Фёдор со знанием дела, выходя на завершение прощального витка вокруг отзывчивого на добро “Восьмигранника”, опоясанного сияющим, с продольными бороздками, кольцом, похожим на кольцо Сатурна.

По крайней мере, таким оно показалось Василию с высоты, когда он в три пополудни вознёсся на “Яке” над заполярным городком и отыскал глазами в иллюминаторе знакомый очажок “народной дипломатии”.

А БАЛАЛАЕЧКА НАИГРЫВАЕТ...

Всё же, действительно, самый талантливый творец произведений всякого искусства — это народ. И, пожалуй, особенно искусен он в творчестве словесном. Притом обходится порой столь скромным объёмом “словесной руды” и набором художественных средств, что просто диву даёшься.

Ведь чтобы создать образы героев, которые стали вечными, а имена их — нарицательными, величайшим поэтам, писателям всех времён и народов потребовались целые тома. И полумифическому греку Гомеру, воспевшему доблестного Ахиллеса с хитроумным Одиссеем, и испанцу Мигелю Сервантесу, породившему чудакватого рыцаря Дон Кихота, и нашим классикам от Александра Пушкина с его “добрым приятелем” Евгением Онегиным, от Льва Толстого с его “точно живыми” Андреем Болконским и Анной Карениной до Александра Твардовского, воссоздавшего характер “тёртого” русского солдата Василия Тёркина в поэтической “книге про бойца”, или Михаила Шолохова, что вывел в своей эпопее тип правдоискателя-казака Григория Мелехова. А вот народ наш умеет создать выразительный образ, характер и даже ментальный тип не только в эпосе, в пространной былине или затайливой сказке, из которых встают Ильи Муромцы, Василисы Премудрые и Иванушки-дурачки, но и в какой-нибудь байке, побаске либо четырёхстрочной частушке, вроде вот этой:

*Растатуриха телегу продала,
На телегу балалайку завела.
Балалаечка наигрывает,
А Растатуриха наплясывает...*

И все вы, конечно, знаете эту Растатуриху, не однажды слышали о ней и даже наверняка встречались с нею. Мне, к примеру, она запомнилась с далёких детских лет. Я, можно сказать, видел её воочию и отчётливо помню до сей поры. При упоминании её имени перед моим мысленным взором неизменно всплывает “конкретная” Растатуриха в образе нашей разбитной деревенской бабёнки, матери-одиночки Ганьки Талашкиной, голосистой песельницы и ловкой плясуньи. Замечу, что при этом была она и не менее ловкой работницей, в чём мне доводилось не раз убеждаться самому. Особенно в сенокосную пору, когда я, как и многие подростки, работал копновозом, подвозил к стогу сено на лошадке, запряжённой в волокушу, а Ганька была копнильщицей, вместе с товарками сгребала в копны сенные рядки деревянными граблями, и они прямо-таки летали в её проворных руках, словно живые. Но больше всё же она запомнилась мне именно в образе этакой простодушной Растатурихи.

Отец мой был тогда бригадиром полеводческой бригады. По заведённому в наших палестинах обычаю большие праздники (и очередную годовщину Красного Октября, и православную Пасху, и традиционные крестьянские отсевки-отжинки) отмечали коллективно, всей бригадой. И “гуляли”, как правило, у нас, в бригадирском доме, благо, он был довольно просторным. И вот тут заводилой неизменно выступала бойкая Агафья Талашкина, или Ганька Талашка, как чаще называли её в селе. Она первой, вслед за бригадиром, поднимала тосты от имени “тружеников полей” и запевала в общем хоре, но всё же коронкой её было сольное выступление — пляска с припевками, среди которых особо выделялась та самая, про Растатуриху.

Ганька брала в руки балалайку, которой, к слову, владела не менее ловко, чем ручными граблями, выходила на круг и, задорно подыгрывая сама себе, выдавала с приплясом свою козырную частушку. Можно даже сказать, она разыгрывала с той частушкой целую сцену, создавая выразительный образ, всеми узнаваемый характер:

*...А балалаечка наигрывает,
А Растатуриха наплясывает.*

Так и вижу эту быстроглазую, быстроногую молодайку, с русыми косами, собранными в корону на темени, в белой кофточке, вышитой по вороту и рукавам, в растрюбистой юбке, гулко постукивающую каблуками о наши половицы и звонко припевающую с лукавой усмешкой: “А Рас-та-ту-риха наплясывает...”

Никому более из выходивших на круг не хлопали гости столь дружно, ничей номер так горячо не сопровождали поощрительными выкриками: “Делай, Ганька! Жги, Ганька, одна живём!” Может, потому, что исподволь чувствовали: не о себе только рассказывала она своей припевкой и танцем, не одну свою долюшку “разыгрывала”, внешне развесёлая, но, в сущности, горемычная “соломенная вдова” и незадачливая “бросовка”, каких встречалось (да и встречается) немало по русским селеньям...

Ганька среди них, пожалуй, выделялась особо сирой неприкаянностью. Отец её Максим Талашкин вернулся с фронта, но из-за тяжёлых ранений протянул недолго. Вскоре, подкошенная утратой, ушла и мать. И Ганька осталась одна в осиротевшем доме. Она была уже девкой на выданье, но в те времена жених был редок и привередлив, а Ганька не отличалась ни особой красотой, ни хозяйственностью. Сваты явно не спешили к ней за “товаром”, да и свои попытки залучить “купца” обычно заканчивались ничем. Правда, один задержался, было, да и то... Звали на селе этого мужичка, прибитого ветерком, Витёк Паньков. С виду тихоня, но броские наколки на руках намекали, что в тихом озере водились и черти. Витёк пожил какое-то время

постояльцем у знакомых, а затем попал в Ганькины сети, вошёл к ней в дом примаком. Расписываться с нею не торопился, хотя Ганька, “дела вдаль не отлагая”, вскоре принесла ему погодков — девчонку и парнишку. Правда, нахлебником Витёк не жил. Неплохо владея топором, подновил городьбу во дворе, в огороде, перетряс крышонки на избе и на бане, просевшие без мужского догляда. Не вступая в колхоз, подрабатывал в нём, плотничал в строительной бригаде. Годика три протюкал на разных сельских стройках. Потом в один прекрасный день, после расчёта за “сданный в эксплуатацию” колхозный свинарник, вдруг исчез из села в неизвестном направлении. Сбежал без объяснения причин. Ганьку и детишек не взял с собой: оставайся лавка с товаром...

Так поневоле стала Ганька “бросовкой” и “соломенной вдовой”. Однако в уныние не впала, в тоску не ударилась. На сочувственные речи и деловые советы селян — подать в розыски, чтобы принудить беглеца к уплате алиментов, — она махала рукой: “А-а, как пришёл, так и ушёл. Скатертью дорожка”. Ребятишек, пока были мал мала, определила в ясли, где временно сама поработала няней, а когда чуток поднялись они на ноги, вернулась в колхозную бригаду. Детей сперва продолжала водить в ясли, потом стала, уходя на работу, расписывать по соседям или просто оставлять домовничать одних. Зимой они сидели в избе, грелись на печке, а летом их чаще всего видели играющими на завалинке под окошками дома.

Не отставала Ганька и от “вечерней жизни” села, умудрялась бегать в клуб, не пропускала ни кино, ни концертов. А летом на “пяточке” и сама “выступала”, играла на балалайке и пела любимые частушки, включая свою забойную: “Растатуриха телегу продала...” И вскоре саму её, конечно, прозвали меткие на язык односельчане Растатурихой. В соответствии с пословицей: кем назовёшься, тем и просльвёшь...

Она, верно, никакой телеги не продавала. Хотя всё же телега у неё когда-то действительно была. Осталась от отца Максима, который работал конюхом и держал на домашнем дворе ладные “резервные” дрожки, сработанные им самим. Но Ганька, оставшись одинокой, отдала их в бригаду. Вместе с упряжью. Бригадир хотел выписать ей пару-другую трудодней за бескорыстный дар, но она и от них отказалась: “А-а, не жили богато, неча канителиться. Пускай — на память о тятё”. Кстати, это иные селяне тоже сочли за проявление Растатурихиной простоты. Ну, и многим остальным она всё более оправдывала прозвище: и заросшим двором, и скудной живностью в нём, состоявшей из коровёнки да десятка куриц, и “условными” запасами дровишек под навесом, и скромными съестными припасами в яме и кладовке. По осени Ганька спешила львиную долю накопанной картошки сдать в сельпо, заработанного хлеба — свезти на базар, чтоб на вырученные деньжонки принарядиться самой, одеть ребятишек, закупить им игрушек и сладостей. А по весне, когда кончались продукты, шла по соседям занимать под будущий урожай или брала “под запись” в колхозной кладовой. И вообще была склонна к тому упованию “на авось”, к привычке делать “на живульку”, которые народная фантазия выразила в собирательном образе, давшем ей прозвище. И Ганька не обижалась, что оно прилипло к ней, даже откликнулась на него, смирившись с такою славой. Но однажды всё же слава эта шибко огорчила и рассердила её.

Где-то в конце корейской войны прошёл слух по селу, что сердобольная Россия наша решила приютить тысячи осиротевших корейских детей и что их будут “раздавать” желающим на содержание и воспитание по всем городам и весям, в том числе завезут и в наш сибирский угол. И вот, узнав об этом, Ганька Талашка первой прибежала в сельсовет, чтобы “заказать” себе двоих-троих корейчат. До кучи, как говорится. Строгий председатель сельсовета Петро Дзирне, по прозвищу “латышский стрелок”, на просьбу ответил уклончиво, что, мол, учтёт пожелание заявительницы, если будет такая возможность. Однако вслед обнадёженной посулом Ганьке не удержался бросить наставление:

— Но сперва, товарищ Талашкина, подбери своих собственных, чтоб не ползали в пыли под окошками без догляда...

На что Ганька, вспыхнув от обидного замечания, резко ответила:

— Не председателю бы повторять бабьи сплетни про Растатуриху!

Тех обещанных корейских сирот к нам в село так и не привезли. А Ганька оскорбительное недоверие родной власти переживала недолго. Погрустила чуток да снова пустилась в бурную жизнь села — что на работе, что в клубе, что на вечерках и гулянках, включая общебригадные. Вроде той, с которой я начал этот рассказец и которая навеки одарила меня ярким впечатлением от встречи с живым воплощением образа Растатурихи, довольно типичного для нашего народа во все времена. А в нынешние, “новорусские”, может, даже более, чем в иные.

Да-да, как это ни горько сознавать...

Всё чаще с годами приходят мысли о нашей с вами недавней общей “телеге”, второй сверхдержаве мира, надёжной, мобильной, полной под завязку несметных богатств... И на что мы променяли её? И что с нею ныне стало? Включите хотя бы телевизор:

*А балалаечка наигрывает,
А Растатуриха наплясывает...*